

УДК 821.161.1, 82.09 Н. А. Бердяев

*Т. В. Марченко**

TANTUM ADVERSUS: К ИСТОРИИ ВЫДВИЖЕНИЯ Н. А. БЕРДЯЕВА НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ**

В 1942–1948 гг. русский философ Николай Бердяев был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе. По сложившейся практике обзор его творчества был поручен эксперту по славянским литературам. Отзыв оказался исключительно отрицательным, на его основе шведские академики приняли решение отклонить кандидатуру русского философа и неукоснительно придерживались этого мнения. Фрагменты из очерка эксперта Антона Карлгрена в переводе со шведского на русский язык публикуются впервые и позволяют добавить новые штрихи к восприятию и интерпретации трудов Н. А. Бердяева на Западе.

Ключевые слова: Н. А. Бердяев, русская религиозно-философская мысль, русская революция, Нобелевская премия по литературе, рецепция.

T. V. Marchenko

TANTUM ADVERSUS: ON THE ISSUE OF N. A. BERYAEV NOMINATION FOR THE NOBEL PRIZE

In 1942–1948, the Russian philosopher Nikolai Berdyaev was nominated for the Nobel Prize in Literature. According usual practice an expert in Slavic literatures had to write a comprehensive review. The review was quite an expose, and basing on it the members of the Swedish Academy rejected the candidature of the Russian philosopher for good and all. Signed by Anton Karlgren, the expert conclusion translated from Swedish to Russian and presented here for the first time in fragments allow to add some extra touches to N. Berdyaev perception in the West.

Keywords: Nikolai Berdyaev, Russian religious philosophy, Russian Revolution, the Nobel Prize in literature, perception.

В списке русских писателей, выдвинутых на Нобелевскую премию по литературе, имя Николая Александровича Бердяева невольно удивляет. Между тем

* Марченко Татьяна Вячеславовна, доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

** Работа написана при финансовой поддержке РГНФ (проект «Русская литература в зеркале Нобелевской премии», № 15-34-11035)

его дело (номинации, экспертный отзыв, протоколы с вердиктами Нобелевского комитета) отложилось в архиве Шведской академии (Стокгольм), и некоторые документы из этой маргинальной истории (подробнее см.: [5, с. 433–456]) позволяют дополнить картину восприятия трудов русского философа на Западе. Автор настоящей работы, так же как и ее предшественник — присяжный эксперт по славянским литературам Нобелевского комитета, — никоим образом не претендует на историко-философский анализ. Будучи литературоведом и два десятка лет занимаясь изучением архива Шведской академии, где хранятся документальные свидетельства нобелевской саги русских писателей, автор считает небезполезным познакомить тех, кто профессионально занимается или всерьез интересуется историей русской религиозно-философской мысли и ее рецепцией на Западе, с одним весьма любопытным архивным документом. Публиковать его целиком нецелесообразно — в нем много пространных цитат, пересказа и того, что давно стало общими местами. Наиболее интересные фрагменты процитированы далее. Документы, хранящиеся в архиве Шведской академии, предоставлены нам с любезного разрешения Постоянного секретаря Шведской академии Сары Даниус (Sara Danius) и цитируются в нашем переводе со шведского языка.

Относительно адекватной интерпретации сочинений Николая Бердяева следует с самого начала оговориться, что для нижеподписавшегося это было почти неразрешимой задачей. Во-первых, эта задача предполагает философское и прежде всего богословское образование, и особенно понимание связанных с православной церковью знаний и представлений, которого у нижеподписавшегося совершенно нет; большая часть сочинений Бердяева не может быть понята и ни в коем случае не может быть оценена никем, кроме эксперта по богословию. Из другой части лишь небольшая часть его сочинений оказалась мне доступна. Из его дореволюционной продукции мне не удалось добыть ни единой строчки; из его продукции 20-х и 30-х гг. мне удалось раздобыть несколько работ, а из редактируемого им журнала «Путь», в котором он с 1920-х гг. опубликовал массу статей, я видел лишь отдельные номера. Но, помимо прочего, мне удалось познакомиться только с несколькими его работами на языке оригинала. И Нобелевской библиотеке, с величайшими усилиями заказавшей книги в прочих библиотеках и предоставившей их в мое распоряжение, и мне самому удалось раздобыть в основном немецкие, английские и французские переводы. А их изучение подчас просто сводит с ума. Переводчики очевидно немного понимают из весьма туманных рассуждений автора, и заканчивается это тем, что переводы, особенно в сложных вопросах, попросту обесмысливаются. Порой с помощью сопоставительного анализа, например, английского и немецкого переводов одного сочинения вы можете пресупеть в поисках смысла, но часто это совершенно безнадежно.

Так начинается обзор о кандидатуре русского философа Н. А. Бердяева, подписанный Антоном Карлгреном, экспертом Нобелевского комитета (о нем см.: [3, с. 33–44]). По-шведски он именуется *sakkuning* — буквально «знаток».

Выпускник Упсальского университета, публицист, журналист, филолог А. Карлгрен (Karlgrén; 1882–1973) был профессором Копенгагенского университета с 1922 по 1953 г. и писал обзоры по творчеству славянских писателей, представленных на Нобелевскую премию, с 1921 по 1948 г. В молодости, на-

чиная со студенческих лет, Карлгрен неоднократно и подолгу бывал в России; он посылал корреспонденции для «Дагенс нюхетер» («Dagens Nyheter»; редактором этой либеральной газеты А. Карлгрен оставался долгие годы) и в период между двумя русскими революциями выпустил несколько книг: «Vinterdagar bland ryska bonder» («Зимние дни среди русских крестьян»; Stockholm, 1907) о русско-шведской деревне на Днестре; «Ryssland utan vodka. Studier av det ryska spritförbudet» («Россия без водки. Исследование русского сухого закона»; Stockholm, 1916); «Ryska intervjuer. Studier från världskrigets Ryssland» («Русские интервью. Очерки из воюющей России»; Stockholm, 1916). Через несколько лет после Октябрьской революции была издана книга «Bolsjevikernas Ryssland» («Большевистская Россия»; Stockholm, 1925; вышла в 1926 г. в переводе на датский и финский языки, в 1927 г. — по-английски). В то же время им написаны разделы о России для шведского энциклопедического издания «Всемирная история» (Stockholm, 1937); Карлгрен пишет о русской, польской, чешской литературе и выступает присяжным экспертом Нобелевского комитета, что предполагает ежегодное чтение книг славянских писателей, номинированных на премию, и составление обзоров об их творчестве. В середине 1920-х — 1930-е гг. печатная продукция самого А. Карлгрена-слависта резко снижается, все его время отнимает редакторская работа в «Дагенс нюхетер» и составление экспертных заключений для Шведской академии. В год первого выдвижения на Нобелевскую премию Н. А. Бердяева выходит монография Карлгрена «Stalin. Bolsjevismens väg från leninism till stalinism» («Сталин. Путь большевизма от ленинизма к сталинизму»; Stockholm, 1942); том в шестьсот страниц в тот же год увидел свет на финском языке.

Экспертный очерк — это не научная работа, предназначенная для публикации. В нем нет библиографии, не соблюдается хронологическая последовательность рассмотрения отдельных работ, реферативное изложение произвольно и отражает прежде всего субъективное мнение «знатока». Но очерк Антона Карлгрена о Н. А. Бердяеве содержит еще и полемику — с соотечественником Альфом Ньюманом (Nyman; 1884–1968), профессором теоретической философии Лундского университета, членом Королевского гуманитарного научного общества Швеции. Именно он регулярно, с 1942 по 1948 г., выдвигал русского философа на Нобелевскую премию (подробнее об А. Ньюмане и об истории выдвижения на Нобелевскую премию Н. А. Бердяева см.: [6, с. 19–72.]). Альф Ньюман был среди европейских интеллектуалов, попавших под обаяние сочинений Бердяева, «чьи достижения в философских исследованиях и чье литературно-философское мастерство заслуживают величайшего признания». Начав с этих слов свою номинацию, А. Ньюман обращает внимание академиков, что русский философ прямо соответствует завещанию А. Нобеля — присуждать премию за произведения, «выдающиеся в идеалистическом <идеальном> направлении» (о формулировке завещания Альфреда Нобеля и о многолетней дискуссии вокруг нее см.: [4, с. 49–52]). Перечислив те разнообразные области гуманитарного познания, которых Н. А. Бердяев касается в своих многочисленных работах, и причислив русского философа к тому направлению, которое развивалось «от Соловьева через Достоевского к Мережковскому», Альф Ньюман подчеркивает, что ему особенно импонирует попытка Бердяева соединить

идеи христианского гуманизма с романтическим идеализмом. Осознавая известную уязвимость своей номинации — Бердяева нельзя назвать писателем в привычном смысле слова, — А. Нюман заостряет внимание на бердяевском стиле, остро полемичном, пламенном и метафоричном. Лундский профессор замечает: «...насколько я мог судить по английским, немецким и даже датским переводам, это стиль подлинного мастера» (последние слова подчеркнуты).

Альф Нюман склонен отделять яркую пассионарность от идей «чистого разума», и если он утверждает: «В современной культурной борьбе Николай Бердяев — одна из самых влиятельных, самых страстных личностей» (в оригинале подчеркнуто), — то в продолжении фразы оговаривается, что среди русских мыслителей современности пальму первенства стоит отдать Николаю Лосскому. К числу лучших работ Н. А. Бердяева шведский профессор относит его «анализ собственно славянской жизни и славянской религиозности». Два списка сочинений Бердяева, на английском и на немецком языке, выглядят довольно внушительно, хотя далеко не охватывают всех публикаций русского философа (они просто названы «многочисленными»). Важнее другое: Нюману самому приходилось опираться на некоторые постулаты Бердяева: «В моей книге “Нацизм, цезаризм, большевизм” (Лунд, 1941), — сообщает Нюман, — некоторые страницы посвящены рассмотрению его философских пророчеств, особенно страницы 190–263, к которым я беру на себя смелость <...> отослать. Тем не менее было бы справедливо добавить, что указанное исследование не отдает всей справедливости религиозно-эсхатологическим и эстетическим идеям этого мыслителя, в высшей степени самобытным, но, в соответствии с планом книги, намеренно ограничено лишь рассмотрением ряда актуальных политических и общекультурно-философских мотивов».

Замечательно, что параллельно в Швеции были изданы труды, касающиеся в той или иной степени русской революции и большевизма; замечательно и то, что авторы этих трудов — профессор философии, рассуждающий с историко-философских позиций, и профессор-славист, выступающий более как публицист, нежели как историк, — вступили в заочный спор, выбрав в качестве предмета рассмотрения сочинения Николая Бердяева. Альф Нюман, автор «Нацизма, цезаризма, большевизма», и Антон Карлгрен, автор «Пути большевизма от ленинизма к сталинизму», находились в неравном положении: первый высказал мысли о взглядах Бердяева в своей монографии, второй оставил их надолго погребенными в архиве, материалы из которого становятся доступными через полвека хранения. Книга Нюмана была доступна любому шведскому читателю, но обращена прежде всего, конечно, к гуманитарной элите, к которой принадлежали и члены Шведской академии. Их всего восемнадцать (пятеро из них составляют Нобелевский комитет), и они оказались единственными читателями экспертного реферата Карлгрена. В их мнении — важном исключительно при присуждении Нобелевской премии по литературе — Карлгрен одержал безоговорочную победу и над Нюманом, и над Бердяевым.

Написанный Карлгреном обзор о русском философе выглядит как настоящий трактат — 87 страниц машинописи. Представляется вероятным, что такой объем и год работы (очерк не был даже закончен в срок) спровоцированы не самой номинацией русского философа, а монографией выдвинувшего его

кандидатуру Ньюмана, опиравшегося на труды Бердяева. Не соглашаясь с ними обоими, в ярком полемическом ключе, порой с публицистическими перегибами и нелицеприятными оценками Карлгрен пишет заказанное «заключение эксперта» *tantum adversus* (только против), выпуская все про и скрупулезно отбирая аргументы исключительно *contra*.

Рассмотрению подвергаются далеко не все работы Бердяева; в сущности, очень немногие. Первая часть экспертного реферата посвящена «в высшей степени хаотичной работе» «Смысл истории», в пересказе которой Карлгрен постарался восстановить «логические связи»: «столь пространственный реферат этой работы мотивирован ее весомостью в глазах самого Бердяева». Высоко оценив исторический кругозор русского мыслителя, Карлгрен совершенно отвергает принадлежащие ему религиозно-философские истолкования исторических процессов:

Смелая оригинальность, которая, несомненно, отличает автора, а также развернутый им взгляд на историю обладает определенным величием, так же как интересны и дают пищу для размышлений некоторые его взгляды на исторические события. Но когда по собственным своим рецептам он сходит в бездонные шахты, чтобы раскрыть тайны исторического процесса, то не нужно и на поверхности быть историком, чтобы понять, как сильно он заблуждается. То, что большевики, перед которыми он с завидным мужеством развивал свои мысли о смысле истории на лекциях в Москве, сочли его присутствие в большевистском государстве бессмысленным, можно понять; будет, однако, совершенно безопасным для философа признать, что не только большевики находят его взгляды целиком и полностью неприемлемыми.

Сам эксперт признается, что «не может быть и речи о том, чтобы представить подробный обзор религиозно-философских и этико-богословских сочинений Бердяева», хотя сам он, постепенно втянувшись, прочел их «с интересом, вызванным благородным идеализмом, который их питает и который выражен с оригинальностью порой ошеломляющей, хотя за стремительно несущейся мыслью следовать подчас нелегко». Эксперт полагает, впрочем, что «экспресс-обзор» религиозно-философских работ Бердяева «можно смело опустить, поскольку явно не за них он был выдвинут на Нобелевскую премию». Карлгрена привлекает иная, важная для него самого тема: роль и место России в широкой исторической перспективе.

Поскольку оба шведа, Ньюман и Карлгрен, обратились к исследованию феномена большевизма, то будет, пожалуй, бесполезным остановиться именно на той части отзыва нобелевского эксперта, где он реферирует осмысление Бердяевым русского исторического пути. Ссылаясь на предисловие философа к «Смыслу истории» (1923), Карлгрен замечает, что, помимо желания «углубить христианство», Бердяева привлекают историософские проблемы, которые «более ста лет занимали русские умы, привели к великим распрям между славянофилами и западниками, пытавшимися осмыслить миссию России в мировой истории; эти проблемы носили эсхатологический характер и были апокалиптически окрашены, а русская философия истории была по преимуществу религиозной». Русский мыслитель полагает, что «историзм» традиционной исторической науки слишком далеко уходит от «тайн исторического процесса».

Как же трактует теория Бердяева смысл исторического процесса? Смысл истории, если выразить положения Бердяева в концентрированном виде, состоит в том, что люди в своем земном бытии не в состоянии реализовать свои возможности и разрешить поставленные перед собой задачи, и, следовательно, реализация возможностей и решение задач может произойти только за пределами земного существования. История не что иное, как путь в иной мир; в рамках истории достижение какого бы то ни было совершенного состояния невозможно; это возможно в другом мире, навсегда.

Протестант (и, возможно, агностик), скептик, позитивист — шведский славист не в состоянии всерьез воспринимать подобные тезисы. Складывается впечатление, что ему трудно удержаться от иронии, воспринимая религиозную основу историософской концепции Бердяева: «... история, по Бердяеву, это путь в иной мир... она включает в себя не только земную судьбу человека, но и небесную». Самого Карлгрена больше привлекает рассмотрение земной истории, и он признает — обратившись к «Новому средневековью», — что именно те работы, где Бердяев рассматривает «большевизм, условия его возникновения, его характеристики, его перспективы в будущем», снискали исключительный успех на Западе.

К пророчествам фаталистов, предрекающих разрушение нашей цивилизации, мир в последнее время прислушивался неохотно, и бердяевские вариации на тему, безусловно, показались ему весьма любопытными. Его исследования большевизма привлекли столь очевидный интерес, поскольку раскрывали проблемы, связанные с большевистской революцией и большевистским правлением гораздо глубже, чем их обычно представляли, и поскольку автор их, как принято считать, находился в особых условиях, дающих возможность проникнуть в истинное положение вещей и беспристрастно осветить их. Как сугубо надежного свидетеля, отличающегося от так называемых политических туристов, профессор Альф Нюман и привлекает Бердяева в своей книге «Нацизм, цезаризм, большевизм». Нюман подчеркивает, что ввиду слишком расходящихся представлений о большевизме, разнонаправленных и односторонних, ценнее всего прислушаться к русскому мыслителю, в непосредственной близости пережившему политическое землетрясение у себя на родине и при этом свободному от подозрений в том, что он замаскированный сторонник тех, кто сверг самодержавие.

Карлгрен напрасно так приносил свои способности в понимании и интерпретации идей Бердяева. Афористичность оригинала способствует выразительному лаконизму реферата: «Самым неприятным в капиталистической системе для Бердяева является то, что она подчиняет духовное материальному, направляет всю человеческую энергию не внутрь, а наружу и утверждает над жизненными силами господство не церкви, а биржи». Но есть у Бердяева и такие идеи, с которыми шведский славист, журналист и специалист по России не может согласиться ни в каком случае:

Самым главным достижением гуманистической эпохи, на раскрытии и уничтожении которого Бердяев сосредоточился в первую очередь, является все же демократия; борьба с ней обретает центральную роль в сочинениях Бердяева. Ненависть, которую он питает к большевизму, смешана с доброй долей

уважения, но ненависть к демократии доходит в нем до отвращения — и это отражает доминирующее настроение в среде русской эмиграции, чья ненависть к большевистскому режиму меньше, чем к демократическому правлению, которое предшествовало большевистской революции и — что действительно справедливо — своей злополучной политикой подготовило почву для большевизма (своих чувств к Керенскому, к этому козлу отпущения русской эмиграции, Бердяев и не скрывает). В демократии, согласно Бердяеву, самоутверждение гуманизма обрело самое злокачественное выражение. Воля человека обретает, по Бердяеву, решающее значение для человеческого общества, и будут сметены все, кто стоит на пути проявления человеческой воли и ее окончательного господства. Воля человека не будет подчинена никаким высшим целям. Из этого следует, что демократия равнодушна к народной воле, к ее направленности и содержанию; она не обладает критериями, чтобы оценить, движется ли народ согласно своей воле в верном или неверном направлении. Демократия, таким образом, равнодушна к добру и злу; она толерантна, потому что безразлична, она утратила веру в истину и не способна истину выбрать. Определять истину должно большинство, и это показывает, что демократия не знает истины и не верит в нее, потому что тот, кто ведает истину, не доверит ее решение простому большинству. Демократия провозглашает, что истины не существует, в этом основа демократии и ее величайшая ложь. Демократия оптимистична, она уверена, что простой перевес голосов неизменно ведет к хорошим результатам — демократическая идеология основана на руссоистской концепции о доброте человека и словно исключает возможность, что в людях существует и зло, что большинство может предпочитать несправедливость и ложь, а истина может принадлежать и малому меньшинству. Демократия не является гарантией того, что люди будут желать свободы, а не ее искоренения.

В сущности, конспект — упрощенный до схематизма пересказ, без перегриваний, но с упором на самых дерзких формулировках русского философа: «Подлинное сопротивление и свобода были более вероятны во времена пыток инквизиции, чем в нынешних буржуазных республиках». Постулат Бердяева, что народ перестает существовать, лишившись веры, а также утверждение о «великой лжи демократии», которая учитывает волю только современного поколения и тем самым словно отменяет прошлое, историю народа, его многовековые традиции, настораживает Карлгрена; обобщающий тезис Бердяева, что народная воля — это само историческое существование народа, созданная им культура, — заставляет нобелевского эксперта решительно возразить: «Помимо прочего, стоит заметить, что в подобных рассуждениях Бердяев ступает на довольно опасную почву».

Русская культура была довольно смешанного типа. Даже и в ней не всё, это вынужден признать и Бердяев, было созидательным. Русь собирается московскими князьями во многом благодаря ловкому канальству этих самых князей, Россия превращается в мощную державу благодаря грубой империалистической политике. Наряду с более или менее спокойными периодами в российской истории есть некоторые совершенно отталкивающие. В общем, можно сказать, что воля русского народа в исторической перспективе обрушивалась ужасающими ударами и здорово напугала немецкую историографию; нет никакого сомнения в том, что воля русского народа действовала в добром согласии с русской исторической

традиций, когда разъяренные толпы зверствовали во время революции. Поставить современную политику в зависимость от эксцессов, которые русский народ позволял себе в истории, — рецепт, внушающий опасения, и Бердяев это также понимает и спешит выставить ограничения: воля народа находит свое чистейшее выражение в религиозной жизни. Не та воля русского народа, что выразилась в погромах и бунтах восставшей черни, но та, что проявилась в единстве русского народа в вере, и в ее превосходстве над религиозностью других народов Бердяев убежден, считая ее единственно верной и органичной; если демократия не провозглашает эту народную волю как путеводную в социальной политике, то в этом и состоит ее фундаментальная ложь. Времена гуманизма, в том числе и демократии, против которых Бердяев выступает исключительно односторонне — отчасти курьезно, отчасти с блеском шулера, ведь он слышит беспристрастным наблюдателем и экспертом по обличению исторических явлений, — подходят, однако, как он заявляет, к концу, и человечество вступает, через потрясения, характерные для каждого временного сдвига, в новую эпоху — по Бердяеву, это новое средневековье.

Не отказывая себе в некотором трагистировании идей Бердяева («согласно его диагнозу, мы уже стоим одной ногой в средневековье, но времена, слава Богу, не повторяются»), нобелевский эксперт так передает культурную дихотомию русского философа: «Культурный кризис, в котором мы оказались, состоит в том, что культура не может больше оставаться религиозно индифферентной, должен совершиться выбор между безбожной цивилизацией Антихриста и святой, христианской культурой, христианской трансформацией жизни. Мир гуманизма распадается на две части, коммунизма и Церкви Христовой». К удивлению Карлгрена, русский философ использует «термины коммунизм, марксизм, социализм как эквиваленты» и полагает, что коммунизм (вбирающий в себя и русский большевизм) использует волю народа для достижения высших, однако антихристианских по своей направленности целей (и «коммунистическое государство представляет собой не теократию, а сатанократию»).

Следует отметить, что Антон Карлгрен отнюдь не разделял коммунистических или социалистических идей, но был глубоко убежден в глубокой исторической предопределенности русской революции; кроме того, тенденциозность, односторонность любого дискурса была для него неприемлема. Вот и в своем реферате он восстает не столько против идей Бердяева, сколько против абсолютизации этих идей, — именно так он прочитывает тексты русского философа. Кстати, Карлгрен замечает, что в рассуждениях о марксизме заметно марксистское прошлое Бердяева, соглашающегося с «частично истинными» идеями коммунистического учения. Разумеется, утвердившийся недавно в России коммунизм привлекает Бердяева как предмет исследования прежде всего, хотя сделанные им некогда личные наблюдения «нуждаются в освежении и пополнении». Больше всего его занимает вопрос: «как случилось, что марксизм победил в России? Как могли большевики взять власть и удержать ее?» И тут же следует оговорка: «О том, как Бердяев отвечает на этот вопрос, можно с самого начала констатировать, что весьма многоречиво. Порой ответы на эти вопросы заводят его слишком далеко, но чаще всего он дает их в том же духе, что в целом множестве своих крайне запутанных статей и книг, посвященных тому же предмету».

Стоит заметить, что Карлгрен остроумно соединяет марксистскую историографию («прогнившее самодержавие») с религиозно-философским подходом Бердяева (революция как «наказание за царские грехи»). И все-таки трезво мыслящий, прагматичный швед не может не удивляться столь чуждому для него мировоззрению: «Но, как правило, Бердяев поразительным образом обходит вклад царского режима в разразившуюся революцию и перекладывает всю вину за нее на русский народ». Карлгрен полагает, что измученное войной, вооруженное крестьянство в солдатских шинелях восстало ради справедливого распределения земли, а Бердяев уверяет, что русский народ отошел от христианской веры и понес наказание за вероотступничество.

Но у Бердяева есть особенное объяснение и тому, как утрата Бога привела к революции, и тому, почему она была столь ужасна. С отпадением народа от Бога царизм был приговорен; царизм мог существовать только благодаря вере народа. «Авторитет власти всегда ведь держится религиозными верованиями народа. Когда религиозные верования разлагаются, авторитет власти колеблется и падает», — утверждает Бердяев (ср. [1, с. 265] — Т. М.). Можно осведомиться, полагает ли он, что, например, и власть Гитлера основана на религиозной вере немецкого народа, или, кстати, если бы он знал шведские дела, неужто он и в самом деле подумал бы, что авторитет правительства Пера Альбина Ханссона (премьер-министр Швеции с 1932 по 1946 г., чья политика в отношениях с нацистской Германией, весьма выгодная для Швеции, вызывала неоднозначную реакцию у соотечественников. — Т. М.) зиждется на религиозной вере шведского народа? С падением царизма, по Бердяеву, открылась дорога к хаосу великой и ужасной русской революции.

Карлгрен подмечает не одно противоречие в концепции Бердяева:

Кстати, любое из заблуждений самого царизма, считавшего, например, всеобщее образование вредным для народа и тормозящим мирное и счастливое развитие России, можно обнаружить и у самого Бердяева. Он говорит о «полуобразовании», которое начало распространяться в России и которое, как он полагает, ведет к утрате веры; то, что темные русские массы не могут усвоить на начальном этапе ничего, кроме «половинных» знаний, — вопрос о том, чтобы приохотить русского мужика к высшему образованию, даже не стоит, — заставляет Бердяева полагать, что подобные полужнания станут катастрофой для русского народа, — как царизм считал, что лучше бы народу и вовсе оставаться безграмотным.

Объяснения Бердяевым русской революции, апеллирует ли он к провиденциалистским силам, или апокалиптическим, или вообще готов считать большевиков «непонятной мистической силой», шведскому профессору не кажутся убедительными. Несколько десятилетий европейские интеллектуалы ищут объяснений русской революции и большевистскому правлению, и далеко не всех удовлетворяют умозаключения Бердяева, подобные следующим: «Большевизм пришел к власти не просто потому, что он был наслан, вроде египетской чумы, в качестве наказания русскому народу, а потому что он проистекал из самой греховной и надломленной природы русского народа»; «народ пошел по ложному пути и создал ложную власть». Эксперт так реферирует «Размышления о русской революции» Н. А. Бердяева (этиюд второй в книге «Новое средневековье»):

По мнению Бердяева, русский народ знать не хочет никакого конституционного правления, но имеет сильную склонность к самодержавной власти. Вера в то, что русский народ имеет вкус к деспотии, вера, которую, среди прочего, высказывала последняя русская императрица, эта вера до невозможности неверна, напротив, русские люди во все века выражали самое яркое неприятие российских самодержцев, сменявших друг друга, и страстно желали одного — разумеется, не установить конституционное правление, и в этом Бердяев, несомненно, прав, — а получить неограниченную свободу и жить в своей анархической вольнице. Что оказалось ударом для русского народа, возложившего на большевизм большие надежды, способствовавшего его победе и не питавшего ни малейшего сочувствия к самодержавной системе, это что большевики не только не дадут ему свободу, но ограничат ее даже больше, чем при самодержавии. Другое дело, что русский народ, с замечательной, отличающей его характер пассивностью, во все времена преспокойно — хотя и с кулаком в кармане и проклятиями на устах — жил при самодержавии. Впрочем, это может объяснить, почему, когда большевистское самодержавие оказалось худшим из всех, народ не восстал против него; но это никак не объясняет, однако, почему же Россия стала большевистской.

<...>

Русский народ — народ религиозный, и это является основой рассматриваемой теории Бердяева. При этом нельзя не признать, что грехов у русского народа не меньше, а то и больше, чем у европейских народов, он, может быть, менее нравственный и честный, чем прочие. Однако он сосредоточен на осуществлении Царства Божия, его глаза отведены от земного к небесному, как наставляет его православная вера. У русских никогда не было живого чувства привязанности к земным благам, к собственности, семье, государству, собственным правам, к своему скарбу или к своим привычкам. Если русский и одержим грехом жадности и корысти, собственность все же никогда не будет для него священной, он не попытается психологически оправдать обладание материальным добром и не задумается в глубине души, что лучше уйти в монастырь или взять в руки посох странника, нет, он, скорее, как упомянутый Бердяевым купец, будет думать, что нажилась нечистыми способами (что, без сомнения, во многих случаях бывало неизбежным) и рано или поздно придется покаяться. Легкость, с какой имущественные права были отменены в России, согласно Бердяеву, без затруднений объясняется тем, что русский человек поразительно равнодушен к земному (ср. [1, с. 273–274] — Т. М.). Русскому человеку вся наша западная секуляризированная культура, вся стройно упорядоченная цивилизация всегда была противна, и он духовно боролся против нее, видя в ней нечто унижительное для человека духовного. Вся западная буржуазная идеология чужда русскому человеку; другими словами, русского не заставишь быть французским или немецким патриотом.

Карлгрен имеет преимущество перед многими и многими западноевропейскими читателями Бердяева, в том числе и перед своим соотечественником Ньюманом: история России в истолковании русского философа все-таки остается историей России, и ее основные вехи и ключевые фигуры хорошо известны ему как слависту. К большинству «тезисов Бердяева» ему хочется «поставить знак вопроса» или проинтерпретировать их по своему разумению. Так, «идеализация русского крестьянства» («народа-богоносца по Достоевскому») была «во все времена характерна для того класса, к которому принадлежит Бердяев и кото-

рый не смогла излечить даже русская революция, показавшая истинное лицо мужика». Представление об «особой религиозности русского народа, которое разделяет Бердяев», заставляет Карлгрена усомниться, не была ли эта религиозность «лишь поверхностным слоем, а души оставались не затронутыми». Еще меньше доверия у нобелевского эксперта вызывает «великая религиозная схизма, так называемый раскол», которому Бердяев «придает такой вес»: ни религии, не религиозности не было в этом движении, «кардинальным вопросом которого стала манера креститься — двумя или тремя пальцами», а сам раскол привел к образованию «самых ужасных сект, где под тончайшей пленкой религиозности скрывались все виды всяческих мерзостей и отвратительных предрассудков». Наконец: «Это было народное движение, которое скорее доказало невероятную суеверность русского народа и его свирепую дикость, нежели его религиозные склонности». Но аргументом, опровергающим представление Бердяева о «христианских добродетелях русского народа», стали в глазах Карлгрена «последние десятилетия», когда «русские крестьяне со свирепой алчностью набросились на помещиков». И «совершенно забавным» кажется Карлгрену Бердяев, когда «поясняет, что западный патриотизм — который он считает грехом — не может быть привит русским душам: патриотизм сейчас охватил всю Россию так, как и не снилось Западу». Написано, напомним, в 1942 г.

У Бердяева — своя Россия, а у нобелевского эксперта — своя, и ему непременно хочется возразить русскому философу, доказывая прямо противоположный тезис: лишь по внешности русский человек казался религиозным или даже фанатиком веры, на деле же речь может идти о диких инстинктах или о преклонении перед атрибутикой. Так, возмущение народа реформами Петра Карлгрен сводит к сакраментальному бритью бород и стремлению «мужиков» защитить свое право «предстать перед Богом с этим христианским орнаментом». Напоминая о предшественниках Бердяева — старце Филофее с концепцией Москвы — Третьего Рима, Достоевском с «благочестивой» идеей народа-богоносца, — шведский эксперт по России (каким Антон Карлгрен неизменно готов предстать в роли нобелевского эксперта по русской литературе) договаривается до того, что в представлениях о «светлом будущем России», о «русском мессианизме», о «великой роли России» сквозит «весьма грубая, примитивная империалистическая подкладка».

Но у русского философа есть не только предшественники, но и современники: «Из разработок советских марксистов Бердяев усваивает поучительнейшие и забавнейшие детали», обращая «материалистическую философию в самую радикальную идеалистическую». Вероятно, в глазах Карлгрена идеализм — нечто до такой степени несовременное и скомпрометированное, что он ставит в упрек своему соотечественнику, профессору теоретической философии Ньюману «подробный реферат» идей Бердяева, которые на самом деле являются «развитием советской философии».

Когда Бердяев утверждает, что Россия стала большевистской, потому что русский народ, с присущей ему религиозностью, особенно горячо воспринял мессианские идеи марксизма, у вас возникает два немаловажных возражения. Во-первых, это что, так уже теперь достоверно, что русский народ эти идеи вос-

принял? В своих доводах Бердяев базируется на этом утверждении как на факте, даже не затрудняясь доказательствами. В разных контекстах он твердит о тех чарах, которыми учение марксизма соблазнило русский народ, о вызванном им энтузиазме, о способности коммунистических идей захватить людские массы и вовлечь их в грандиозную и непрерывную революционную борьбу. Но в иных контекстах он уже не так во всем этом уверен. Уже когда он заявляет, что популярность коммунизма на первом этапе революции можно объяснить, как он выразился, умением большевиков оболванить народ лозунгом «грабь награбленное», он тем самым признает, что если толпу и оболостили марксистские идеи, то в начале революции большевики победили, вовсе не вызывая к чаянию народа построить Царство Божие на земле; так что никак нельзя объяснить природной склонностью русского народа к марксизму то, как и почему большевики захватили власть. Или в ином месте, когда он утверждает, что нельзя отрицать в русской молодежи искренней, самозабвенной приверженности к коммунизму, отразившейся в том, как она трудится над выполнением пятилетнего плана, — но если он говорит только о молодежи, то, вероятно, не столь уверен — и он воистину прав! — в остальном населении. Или вот еще в одном месте, когда он заявляет, что большевики невыносимы для русского народа, но люди просто находятся в «большевистском состоянии» (ср. [1, с. 269] — Т. М.), любопытное выражение, смысл которого, по общему признанию, не вполне ясен, но едва ли это может означать, что недоброжелательство по отношению к представителям марксизма может сочетаться с горячей приверженностью к идеям марксизма. На самом деле нет никаких сомнений, что подавляющие массы русского народа от души ненавидят не только большевиков, но и большевизм, и уж во всяком случае не склонностью этих масс к коммунистическим идеям можно объяснить, почему Россия так увязла в коммунизме.

Во-вторых, если теперь какая-то часть русского народа приняла марксизм, то было бы очень опрометчиво, вслед за Бердяевым, полагать, что это произошло из-за его будто бы религиозной составляющей — тех элементов, которые Бердяев считает наиболее привлекательными для религиозных русских душ (каковыми их считает лишь он сам). <...> Разговоры о мировой революции и мировом социалистическом рае были заменены программой — и сделал это Сталин — сосредоточить надежды и силы русского народа на новом национальном российском здании, которое, по общему признанию, возводилось во имя социализма, но совершенно ясно, что поставленные цели были направлены вовсе не на достижение какого-либо земного рая, но на укрепление процветающей и сильной русской великой державы, во всех возможных отношениях превосходящей остальной мир. Это большевизму до некоторой степени удалось благодаря мужеству русского народа, силы которого были мобилизованы в устремлении к целям едва ли небесным, но прежде всего вполне земным. В этой концентрированной народной силе большевизм нашел точку опоры и стал победителем. А мнимая религиозность русского народа не имеет к этому никакого отношения.

Между тем, нобелевскому эксперту вменено излагать не собственные взгляды, а реферировать сочинения Бердяева. Карлгрену это доставляет тем большее удовольствие, что, излагая далее теорию Бердяева, как русский народ «оказался в руках идеологии», подменившей «религию Христа религией Антихриста», приходится касаться увлекающей его самого феноменологии российской истории — раскол и раскольники, нигилизм и нигилисты. И тут Карлгрен обнаруживает, как Бердяев придает знакомым, казалось бы, по-

нятиям «совершенно новый смысл». Напоминая, что в западноевропейской традиции «нигилистами» принято называть тех русских революционеров, кто был вовлечен в непосредственную революционную деятельность, Карлгрен обнаруживает, что для Бердяева «нигилистами» (попутно шведские академики получают справку о Тургеневе и «Отцах и детях») оказываются «радикальные писатели с Белинским во главе, появившиеся задолго до того, как был изобретен сам термин, но чьи идеи более или менее оплодотворили русское революционное учение». Именно они «сделали первый шаг на пути, который вел от русской религиозности к русскому марксизму». При этом, согласно Бердяеву, «нигилисты» XIX в. представляли собой «новейшее издание раскольников XVII в.», «центрального явления русской истории». Несколько иронически удивляясь тому, как это из келий в дремучих лесах раскольники вдруг оказались в столичных кабинетах (ибо «психология схизмы», по Бердяеву, «была передана русскому образованному классу, интеллигенции»), «нигилисты» унаследовали «бескомпромиссное и неподдельное рвение к истинному Царству Божию», с тем же пафосом, но «с бóльшей укорененностью в окружающей действительности, с бóльшим бесстрашием в своем мышлении и склонностью к крайним взглядам ринулись на утверждение абсолюта правды в общественной жизни». Карлгрен согласен с русским философом в типологической общности «раскольников» и «нигилистов» — неколебимая убежденность в истине и непримиримая враждебность к ее противникам, бесстрашие в ее отстаивании и жертвенность. «Но это же просто означает, — замечает нобелевский эксперт, — что присущие русской психике черты проявлялись в обоих случаях сходным образом». Замечает он и другое: «...когда Бердяев в качестве доказательства единства религиозного духа, которым руководствовались и раскольники, и нигилисты, указывает на пропасть, которая отделяла тех и других от властей предрержащих, он даже сам не замечает, что от доказательства тем самым не остается и следа».

Двигаясь вслед за Бердяевым по пути русского революционного движения и отметив, что «нигилисты» прониклись религиозным духом, согласно русскому философу, из сострадания к человечеству, Карлгрен задается вопросом — обращенным к реферируемому им мыслителю: «Почему же тогда, спросите вы Бердяева, почему же тогда русскую душу, наполненную сочувствием и любовью к людям, так привлекло учение вовсе им незнакомого Карла Маркса?» Потому, «отвечает Бердяев» (сокращаем пространную тираду), что угнетенные, победив, сами неизбежно становятся угнетателями: «Победа революции вызвала глубокую внутреннюю трансформацию души триумфаторов и привела к воспитанию нового поколения, нового человека, нового “антропологического типа”. Таков, по мнению Бердяева, путь от религиозности раскольников до современных русских марксистов». И тут, по заключению Карлгрена, Бердяев, до этого прямо следовавший схеме Гегеля — «раскольники» тезис, «нигилисты» антитезис, — вдруг отклоняется от нее и вместо синтеза предлагает «нечто новое и ни с чем не сообразное — русский марксизм»:

Вся эта теория, согласно которой русский марксизм до революции не был подлинным марксизмом, но оставался девственной психологией нигилизма

с его мнимым человеколюбием и состраданием к страждущим и в соответствии с которой (теорией) только те элементы, которые пришли после революции, представляют собой реальный марксизм с его волей к власти, настолько совершенно беспочвенна, что неясно, как человек, с именем которого связано распространение марксизма в России, был в состоянии ее произвести. Марксизм победил в России, потому что провозгласил пролетариат движущей силой и тем самым мобилизовал русскую революционную энергию, придав силу и волю до этого малочисленному марксистскому авангарду, который воспользовался благоприятной экономической ситуацией и, встав во главе масс, взял на себя ведущую роль в стихийной русской революции, — вот и весь ответ на вопрос, который запутал Бердяева в его сложных теориях. <...> Марксизм мобилизовался и взял власть в процессе революции, преуспев до определенной степени в привлечении и одушевлении русского народа, в пробуждении его созидательных сил, которым при царизме никогда не давали возможность проявиться. Энергия долго связанного народа была выпущена и сфокусирована на решении огромного, заманчивого дела — дела, которое имело очень мало или вообще ничего общего с первоначальными социалистическими идеалами, а, напротив, оказалось чисто национального характера: пятилетка, национальная индустриализация, национальная оборона.

Марксизм как учение ни при чем, уверен Карлгрен: большевикам удалось воспользоваться вырвавшейся на свободу почти первобытной энергией слишком долго угнетенных классов; это могло произойти где угодно и при каком угодно правлении — дело не в царизме или в большевизме, а в подавляющем волю и творческие силы народа режиме. Это умозаключение «дезауирует идею Бердяева». Реальность (межвоенное строительство советской России) приходит «в слишком сильное противоречие со всем его прихотливо выстроенным и весьма мудреным объяснением того, как явился большевизм из недр природной русской религиозности».

Возникает, между тем, следующий вопрос: как победить большевизм? Для Бердяева решительно невозможна контрреволюция в России, реставрация самодержавия. Но это слишком очевидно, досадует нобелевский эксперт, ведь о контрреволюции всерьез могли задумываться только самые одиозные эмигранты, да и то в самом начале 1920-х гг. Ожидаемый путь спасения России от большевиков, отстаиваемый Бердяевым, — путь религиозного возрождения, — Карлгрена, как и следовало ожидать, разочаровывает. Эксперт поясняет, на чем основывает свою веру в русский религиозный ренессанс Бердяев, — очищение русской религиозной жизни от лицемерия, церкви — от сращения с государством, мужество и даже мученичество православных священников в годы гонений, обращение народа к вере как к неизменной духовной опоре во все времена. И констатирует: «Иллюзия, вне всякого сомнения». Из страны близкого, недоброжелательного, но отгороженного своим нейтралитетом от исторической реальности соседа кажется, что русский народ нимало не протестовал против преследования священства и веры — как не протестовал и против вторжения большевиков во все сферы жизни русского человека — и потому ожидать религиозного возрождения в России не приходится. Во всем мире гуманизм с его демократическими идеалами гибнет; всемирно-исторической миссией России, по Бердяеву, было поставить мир перед дилеммой: либо братство во имя Христа, либо царство Антихриста.

Очевидно, что нобелевский эксперт с трудом реферирует эти мысли Бердяева, настолько невозможными, несвоевременными, прямо невообразимыми кажутся они ему:

Мир стоит на перекрестке... с Христом или с Антихристом... только христианство спасет мир, как во времена распада Римской империи... философия, искусство, государство должны стать религиозными... государство и общество смогут соединиться только на почве веры... Бог должен стать центром всей нашей жизни, наших мыслей, наших чувств. Бог должен быть нашей единственной надеждой. Духовным центром в новую эру должна, как и в средневековье, стать Церковь.

Это визионерство Бердяева не заслуживает критики: она лишь склоняет голову в почтительном молчании. Но затем он идет дальше, и когда он, как социальный реформатор, подробно описывает новое общество, которое будет построено в так называемом новом средневековье, то трудно оказать ему то же почтение. Тогда не остается ничего другого, как безо всякого почтения покачать головой.

Разумеется, прежде всего шведского профессора сильно смущает «ненависть» Бердяева к демократии, но в целом он совершенно перестает воспринимать серьезно изумившие его идеи русского философа, словно приглашая нобелевский ареопаг посмеяться над наивными фантазиями:

Характерной чертой нового средневековья будет пристрастие к оккультным наукам. Собственно наука вернется к своим истокам в магии, а вслед за тем раскроется и волшебная природа техники. В свою очередь религия и наука начнут подменять друг друга, а затем явится потребность в новом познании. Мы возвращаемся в столь чуждую в еще недавнее время атмосферу чудес, когда снова возможной становится белая и черная магия.

Но разве не имел Бердяев оснований для подобных утверждений, если в Третьем рейхе при нацизме расцвел оккультизм, создавались организации вроде полумифической «Ahnenerbe» («Наследие предков») и формировались экспедиции на поиски легендарной Шамбалы? И разве не подтверждает пророчливости Н. А. Бердяева следующий пассаж:

Характерным для нового общества является то, что женщины там будут играть более активную роль, чем раньше. Исключительно мужская культура истощила себя в Первой мировой войне; женщине, которая более сокровенно соединена с мировой душой, чем мужчина, и, как недавно было показано, находится на более высоком уровне, чем он, отведена особенно большая роль в современном религиозном пробуждении. Женщина приобретает все большее значение в новую эру, что, однако, не имеет ничего общего с современным движением женской эмансипации, которое хочет уравнивать мужчину и женщину, — это антииерархическое, уравнивающее движение, которое отрицает вечную женственность. <...> Женское начало, освобожденное не затем, чтобы заступить место мужчины, но в своей вечно женственной ипостаси в наступающем историческом периоде будет более значительным.

На этом эксперт полагает завершенным «обзор основной части трудов Бердяева; все прочее, им опубликованное, представляет меньший интерес.

Это пара монографий. Одна о Достоевском, другая о своеобразном русском писателе прошлого столетия <Константине> Леонтьеве», хотя имя этого «безвестного» и, в «пору русской реакции, сверхреакционно мыслящего» писателя «целесообразнее было бы оставить в полнейшем забвении». Наконец, в заключение А. Карлгрен объявляет, что он не берется «измерить значение» трудов, вышедших из-под пера русского философа, который «в современной русской философии ни в коей мере не считается звездой первой величины, уступая гораздо более значительным именам. Что же до его трудов, затрагивающих актуальные проблемы современности, то эти труды, которые, в сущности, и прославили его имя и были сочтены заслуживающими Нобелевской премии, я не могу назвать иначе как откровенно бессмысленными».

Со времени написания этого очерка прошло почти три четверти века. Работа Антона Карлгрена, предназначенная для служебного пользования в недрах Шведской академии, никогда не была опубликована; кстати, она и не была написана с расчетом на печать, чем и объясняется резкая субъективность высказанных в ней суждений. Но этот критический трактат не был завершен в срок. «Согласно краткому заключению эксперта, — сказано в финальном протоколе Нобелевского комитета за 1942 г., — он охарактеризовал кандидатуру как “совершенно безнадежную”. Комитет не в состоянии дать собственное мнение об этом предложении» [7, s. 331]. В 1943 г. цитируемый в настоящей работе экспертный отзыв поступил и содержал, как явствует из протокола Нобелевского комитета, «весьма подробную и основательную критику философии Бердяева, кульминацией которой стало отрицание ее (философии. — Т. М.) значения и важности. Комитет выражает в этом году свой отказ от этой кандидатуры» [7, s. 338]. В 1944 г. о кандидатуре русского философа в протоколе Нобелевского комитета сказано, что она отвергнута уже дважды на основании «разгромного» экспертного заключения, и это решение не подлежит пересмотру [7, s. 347]. В 1945 г. Комитет, как и прежде, находит нецелесообразным рассмотрение этой кандидатуры [7, s. 354]. В 1946 г. о кандидатуре Бердяева записано уже на первой странице протокола следующее: «С 1942 г. наличествует подробный разбор русского философа Антоном Карлгреном, который приходит к его решительному отклонению. Комитет присоединился к этой позиции эксперта и позже повторил свое отклонение <кандидатуры Бердяева>. Он придерживается его и сейчас» [7, s. 361]. В 1947 г. философа отвергли в двух строках, сославшись на критический отзыв эксперта и на принятое прежде отрицательное решение [7, s. 374]. В 1948 г. русский философ, выдвинутый на премию Альфом Нюманом, его неизменным предстоятелем перед Нобелевским комитетом, скончался, что и было зафиксировано в финальном протоколе [7, s. 390].

В течение XX столетия мировоззрение всех интеллектуалов по обе стороны Атлантики неоднократно менялось, обретало новые черты, но религиозно-философское, историософское наследие Н. А. Бердяева продолжает вызывать неподдельный интерес, остается предметом горячих споров и научных исследований. Больше полувека спустя кажется странным, что члены Шведской академии не были знакомы с именем и трудами Н. А. Бердяева, что они до Второй мировой войны не переводились и не издавались в Швеции, что имя русского

мыслителя настолько мало известно, что требуется специальный реферативный очерк его работ. И все же Нобелевская премия неизменно остается тем зеркалом, в котором отражается сам век, отраженный, в свою очередь, в слове. На долю Бердяева — маргинального кандидата на премию — выпала роль отверженного гения. Высоко его ценивший Альф Нюман постулировал в работе «Образование, элита, масса» (Nyman A. Bildning, elit, massa. Sju kulturpolitiska kapitel. Stockholm, 1946) необходимость предоставить свободу самобытному гению развиваться по его усмотрению и доказывал потребность современного обезличенного общества в гениальности. Но в этом отношении Нюман оставался пессимистом, не полагаясь на снисходительность массы к подлинному творцу. Ни Нобелевский комитет, ни его эксперт не разделили его восхищения одним из русских гениев.

Суммируя впечатления от одной из послевоенных международных «встреч» интеллектуалов, ужаснувшись маргинализации «духовности» в мире, элементарности мыслей и слов, Бердяев констатировал: «Я опять остро почувствовал, до какой степени я одиночка. <...> Я обращен к векам грядущим...» [2, с. 374].

ЛИТЕРАТУРА

1. Бердяев Н. А. Новое средневековье // Бердяев Н. А. Смысл истории. Новое средневековье. — М.: Канон+, 2002.
2. Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). — Париж: YMCA-Press, 1949.
3. Марченко Т. Нобелевский эксперт: русские писатели в оценке Антона Карлгрена (1920-е — 1930-е гг.) // Scando-Slavica. — 2000. — Т. 46. — С. 33–44.
4. Марченко Т. Русские писатели и Нобелевская премия (1901–1955). — Köln; München: Böhlau, 2007. (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Bd. 55).
5. Марченко Т. Маргинал. Нобелевское дело Н. А. Бердяева в архиве Шведской академии (Стокгольм) // Revue des études slaves. — 2016. — Т. LXXXVII, fasc. 3–4. — Р. 433–456.
6. Марченко Т. В. Как проваливаются гении, или нобелевские маргиналы sub specie aeternitatis: Бальмонт, Бердяев, Набоков и другие. Главы из книги «Русская литература в зеркале Нобелевской премии» // Ежегодник Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2016. — М.: Русский путь, 2016. — С. 19–72.
7. Nobelpriset i litteratur. Nomineringar och utlåtanden, 1901–1950 [Нобелевская премия по литературе. Номинации и заключения] / utgv. av B. Svensén. Del II: 1921–1950. — Stockholm: Svenska Akademien, 2001.